
Борис Олейник
МЕРА



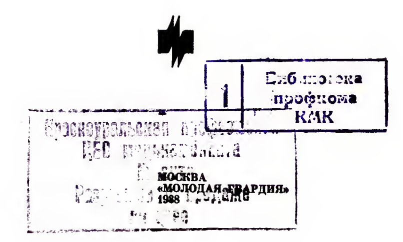
Борис Олейник

МЕРА

СТИХИ,
БАЛЛАДЫ,
ПОЭМЫ

Авторизованный перевод с украинского Льва СМИРНОВА, Игоря ШКЛЯРЕВСКОГО





МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1988

ББК 84Ук7
О—53

О $\frac{4702590200-254}{078(02)-88}$ 198—88

ISBN 5-235-00708-5

ПРИЗНАНИЕ

Я здесь в осенний день рожден.
Морозцем был прихвачен сад.
Но, как зернинку, в теплый сон
Меня укутал листопад.

А по весне пошел я в рост,
И первый дождь меня омыл,
И первый шаг мой был не прост.
Ведь в дивный мир он сделан был.

И с той поры все сто земель
Изъездил я и исходил,
Но в дни весны, как журавель,
Всегда в края отцов спешил.

И, надивясь на те края,
Клянусь вам на мече пера:
Нигде не встретил больше я
Ни Украины, ни Днепра.

Здесь мой порог. И первый грех.
И очищения огонь.
И здесь вложил я, как орех,
Звезду ей в теплую ладонь.

Здесь мой исток. Моя родня.
И даже ворон, нем и глух,
С креста прадедова меня
Приветствует, как добрый дух.

Я с веткой здесь любой на «ты».
Здесь все — свои. Здесь все — мое.
И поливает мать цветы...
Хотя давно уж нет ее.

Здесь долю каждую война
Навек вспахала до глубин.
И жестяная не одна
Звезда мне светит, как рубин.

Я здесь родился. Песни пел.
И горе знал. И счастье знал.
И, может, здесь преодолел
Свой не последний перевал.

И так же просто, за спиной
Оставив не одну межу,
В трудах, как род бессмертный мой,
Я тихо голову сложу.

И так скажу: я видел свет —
Пусть подтвердит мое перо! —
Но ничего чудесней нет,
Чем Украина и Днепро...

БЕРЕГА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА

Моя чайка * в ночи заплывает в лиман,
Заплывает, да все не причалит.
Серебрится полынь за спиной, как туман,
Как дымок стародавней пищали.

Дремлет сабля в ногах и не блещет, как встарь,
Люлька стынет во рту, пригорюнясь.
Отгуляла степями казацкая ярь,
Отцвела моя русая юность.

А заря над землей поднялась во весь рост,
Стала зримей далекая веха,
И осталося меньше пятнадцати верст
До межи двадцать первого века.

Что за нею? Тревожного мира огни
И загадочный лик человека...
Ты свети мне, заря, — разглядеть помоги
Берега двадцать первого века.

Там не встретят меня молодые лета.
Там свои листопады и вьюги.
И поэты не те, и полынь там не та,
И невест наших... взрослые внуки.

Ну и что ж! Все равно никому не сломить
Нас, крылатых, двужильных от века.
Мы дойдем, чтобы твердой ногою ступить
За гряду двадцать первого века.

Моя чайка несмело коснулась крылом
Слабой вмятинки на космоплане...
Как обычай велит, бью казацким челом
Вам, грядущего века земляне!

Эх, не всех пощадят нас огонь и свинец,
Но тот миг не могу не воспеть я,
Когда глянут друг другу в глаза наконец
Две эпохи, два тысячелетья.

...Кто-то, вижу, на берег взошел золотой.
Чем-то встретишь, порадуешь чем-то?
— Ты хоть имя скажи мне? — кричу над волной.
Докатилось до чайки:
— ...Шевченко...

Два столетия эхом единым свело,
И опала усталость-истома,
И погладил я чайки казацкой крыло:
— Вот мы, кажется, чайка, и дома...

* Чайка — длинное узкое речное судно у запорожцев *(укр.)*.

* * *

Вот так убежать за леваду —
и тихо, под солнцем,
Засветится гай, а за гаем — село.
И все, что умчалось, опять издалека вернется.
И снова почудится:
все, что прошло, не прошло.

И вновь я увижу твой легкий платок за плечами,
И та же в реке колыхнется вода.
Но время прощанья твоими посмотрит очами,
И это — навеки... навеки...
навек...
Навсегда.

Вернусь я в ту пору свою предрассветную снова,
Увидев, как маки в ладонях красны,
И все, что таилось до времени,
выльется в слово,
И ласточки в осень вернутся из дальней весны.

Растает снежок на висках, убеленных годами,
Листва по садам зашумит в холода,
И юные кони опять прозвенят удилами,
И это — навеки... навеки...
навек...
Навсегда.

Снежинка залетная стала слезой на ладони.
Шепнула морозная мне седина,
Что к нам не вернутся вовек
нашей юности кони,
Что наша дорога в тумане сплошном не видна.

Под ветром чернеет костра разметенная груда,
И в реках бежит уж другая вода.
И время прощаться с надеждой несбывшейся,
с чудом,
И это — навеки... навеки...
навек...
Навсегда.

НАДЕЖДА

Гикнули волам чумаки в чистом поле,
Тронулись в сторону моря —
Белой да понтийской добыть себе соли,
Черное солить свое горе.

Или вы, родные, пошли за водою,
Иль волов попутали бесы —
И Чумацкий шлях уж зарос лебедою,
Только соль пылит в поднебесье.

Дома вас заждались — и ждать перестали:
Трижды род ваш смертью косило.
Вас же, поседевших с тоски и печали,
Все по свету где-то носило.

Что ж вы так замешкались, добрые люди?
...Прогудело далью окрестной:
— Сбились мы с дороги земной на распутье,
Вот теперь ползем по небесной.

Что ж вы забрели в те парсеки, как боги?
Мы уж космолетом владеем,
Но чтоб вас найти на вселенской дороге,
Дара такого не имеем.

Как же вас вернуть на родные дороги,
След ваш отыскать в этой бездне?
Почитай, мы все перебрали дороги.
Есть еще последняя... в песне!

ВЕЧНОЕ

Ты с тайны покрова срывать не спеши,
Свои теоремы любя...
Пусть сказка в заветных глубинах души
Живет, удивляя тебя.

Свели б и любовь к уравненьям простым
Командами кибер-систем,
Когда б не коснулся я чувством шестым
Того, в чем слаба ЭВМ.

Ты формулы все в мою голову вбей,
Но я докажу тебе днесь:
Поэзия всех этих формул мудрей,
Поскольку — Поэзия есмь!

Пусть в слове присутствует тайна всегда!
Ты слышишь, как плачет оно:
«Зозуля ему еще дарит года,
А он уже мертвый давно».

Но есть у поэзии высший полет —
Превыше всесильных небес:
«Зозуля ему оборвала свой счет,
А он уже в Слове воскрес».

ПЛАТОНУ ВОРОНЬКО

Как на сечу он собрался —
Поднялися вихри,
Ярым пламенем дохнуло
Вдоль Сулы на Сумы.
Мать забилась на пороге
Чайкою в Охтырке,
А подсолнухи стояли,
Черные, как думы.

— Смерть, меня ты стороною
Обходи, косая,
Не топчи могилы, ворог,
Не грози неволей.
Берегися — вороного
Мигом оседлаю,
И тогда уж нас рассудит
Доля в чистом поле!

Как в большак ударил грозно
Вороной копытом:
Три моста взлетели к небу,
А четвертый — к черту!
Немец стал рудым от взрыва
Во поле открытом.
Он винтовку заряжает,
Весь от злобы черный.

Он в обойму все четыре
Загоняет прочно,
А на пятом вдруг стихают
По лесам зозули,
Потому что смерть в том пятом
Свое жало точит,
Для наездника лихого
Спрятанное в пуле.

А когда они сошлися
Под полынный шелест,
На Савур-могиле горько
Тишь запричитала,
По нему четыре раза
Выстрелил пришелец,
А на пятом с небосклона
Вдруг звезда упала.

Но ты зря, звезда, упала
С горя на планету,
Ты напрасно переметы
Ставил, враг постылый, —
Твоя злая, золотая

Не взяла поэта, —
Помешал кисет у сердца,
Дар подруги милой.

Как домой он возвращался —
Хлеб клонился спело,
От полыни в чистом поле
На губах горчило.
Три моста взлетели к небу
Лебедями бело,
А четвертый — лег к той самой,
Что кисет вручила.

Гей, летел на вороном он,
Легкий да крылатый,
При себе не вез трофеев,
Дорогих да бранных:
Только верным побратимам
Слово в сто каратов.
А себе войну на память
Да четыре раны.

На виски и на отавы
Веют снеговеи,
А весна идет, колышет
Молодую поросль,
А вдали гремит дорога
Так, что перед нею
Старость пятится со страхом,
Отступает хворость.

— Ну, а первую, — он скажет, —
Выпьем за дорогу,
А вторую — чтобы дома
Мать ждала родная,
Третью выпьем — за лихого
Друга вороного,
А четвертую — за то, что
И жена не знает!

ОТЦЫ И ДЕТИ

Мать на кухне хлопочет, всегда при деле.
У нее ежедневных забот — масса.
То на грушу залезут соседские дети,
То коты с подоконника утащат мясо.

Закрутилась мать. На лбу ее сажа.
Да и старое сердце частенько болит у ней.
Недоваренный борщ. Подгоревшее сало.
А сыны
            занимаются
                        политикой.

— Вы куда-а! —
                        Воробьи налетели на просо,
А у ней не ладится что-то с подливкою.
Закрутилась мать.
                        На глазах ее слезы.
А сыны
            занимаются
                        политикой.

Запахнулась тучкой на пороге
И, в глазах осенний пряча дождь,
Покачала головой в тревоге
И пошла
            доваривать борщ.

Батька нынче с работы пришел
                        измученный,
В ковш воды зачерпнул,
                        попросил полить ему.
Он стоит и ждет с рукавами засученными...
А сыны
            занимаются
                        политикой.

Плюнул батька, рукава спуская,
Недовольный, вышел на порог:
— Что же за политика такая
И какой скрывается в ней прок?!

Слышишь, мать?
                        Пусть лежебоки наши
Сварят себе ужин из цитат.
Ставь обратно в печь борщи и каши,
Поглядим, кто прав, кто виноват!

Поднимались нехотя большие и малые,
И на мир дивились глазами усталыми.
В черевиках, пошитых когда-то мамою,
Шли к столу, похрустывая суставами.

Старомодную печь обходили стороною,
Еще издали миску свою заприметив.
Тут-то батька не выдержал: — Подождите-ка,
дети!
Надо руки умыть нам перед едою.

— Ах, пардон! Как в Европе... А мы... Извините! —
Сыновья перемигивались иронично.
Рукава засучили:
— Полейте, родитель!
Время деньги! Ха-ха!
Мы спешим, как обычно!

Эх, рванулся батька, как нагайка,
Гром — на все четыре стороны:
— Раздевайтесь, сопляки, до майки,
До трусов аж, чертовы сыны!

Задрожали, как лоза под громом,
Стали раздеваться второпях,
Позабыв о званьях и дипломах
И о потускневших орденах.

Фраки все и фразы с них сорвало,
Обнажив основу всех основ, —
И не стало больше генералов,
Мастеров, поэтов, докторов!

Лишь стояли, потеряв отвагу
И свои казенные штаны,
Белые,
белее, чем бумага,
Непристойно белые сыны.

И сказала мать, гремя ухватом,
От стыда лицо прикрыв платком:
— Что ты, старый, пристаешь к ребятам?
Дай поесть, а уж брани потом.

Батька ус пшеничный свой расправил,
Поглядел по сторонам.
Улыбнулся, против всяких правил,
И сказал сынам:

— Добре, хлопцы! Но сначала вилами
Пожидать навоз ступайте в хлев...
Не годится брать
такими белыми
Пальцами
мужицкий черный хлеб!

СЕБЕ НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Едем-едем с ярмарки —
Эх, да под осень,
Гроши просвистали —
Пусто в кошельке.
Конь летит, как будто
Калигулу сбросил, —
Весело нам, весело
Ехать налегке!

Чубарики-чубчики
Чистят перепелки,
Чубарики-чубчики —
На стерне-росе.
Бронзово сверкают
Спицы-перепонки
Под дорожным возом
В колесе.

Возлежу на сене,
Как гость из прерий.
Ногу вскинул на ногу —
Черт мне не сват!
Как ковбой, на брови
Надвинул сомбреро, —
Едем-едем с ярмарки
В листопад.

А сосед на выручке,
Как царь на троне, —
При дебелом теле
И табачке:
— Господи! — отчаянно
Бьет в ладони. —
Слышал ты, чтоб с ярмарки —
Налегке?!

Напихай в карманы
Травы вместо червонцев, —
Засмеют же куры
На шестке! —
...А я себе еду.
И в горстях — по солнцу.
Значит, уж не так чтоб и
Налегке!

В передке усевшись,
Как родная теща,
Стрекочет сорока —
Белый бок:
— А везем мы нечто...

А вернее, то, что
Вам и не приснится,
Куманек!

А навстречу только
На ярмарку едут.
Молодые. Заспанные.
С шутками притом.
Тут, дескать, добраться бы
До обеда,
А вечерять будем уж...
Потом.

Эх, один возок,
Как крашенка, раскрашенный,
И на ней така-а-я
Краса!
Брови — настоящие
Вербные барашки,
А в очах, в прищуре —
Небеса!

Я за ней, за нею, как
за магнитом —
Оком.
А сосед с ехидцею:
— Хе-хе-кхе!
Шею не сверни себе
Ненароком,
Как-никак, — полсотни,
И... налегке!

У соседа кони
Бредут с тоскою.
Под мешками стонет
Колесная ось.
А я себе еду:
Солнце — за спиною.
Золота кленового —
Целый воз.

Подкатил к двору...
Вижу: двери настежь.
«Воры!» — промелькнуло
В тот же миг.
Пусть бы все забрали —
Это ли несчастье?!
Только бы не тронули...
Тещи да книг.

Глянул я на полку —
Пустая ниша.

Оглянулся: бог ты мой!
За столом моим —
Рыльский и Сосюра,
Малышко и Вишня
Во главе с Тычиною
Самим!

Я стою... такой себе
Радостно-испуганный.
А Гончар со мной
Накоротке:
— Что-то тут соседи
Балакали друг другу,
Будто бы вы с ярмарки —
Налегке?!

— Может, так... А может... —
Сел я на скамейку,
Поглядел на классиков,
Эх, ягодки-цветы!
Хитро из-за пазухи
Достаю жалейку,
Древнюю,
Времен Сковороды.

Наклонились гости.
Платон чуть слышно
Шепчет: — Вот так чудо
Из чудес! —
А как взял в ладони
Ее Малышко —
Из-под пальцев выпорхнула
Песнь!

Эй, чубарики-чубчики, —
Дождик чистый!
А в улыбке Вишни —
Небеса.
Подтянул Тычина
Серебристо,
Светит у Сосюры
Слеза-роса.

— Что за жалейка! —
Гончар веселится. —
Собрала, подумайте,
Аншлаг!
Вон пришла как будто
За солью молодица,
Встала и забыла,
Зачем пришла.

Под окном уселись
Старцы на скамейку
В окруженье внуков,
Правнуков и птиц.
Кто-то уж притоптывает
Под мою жалейку.
Кто-то на транзистор
Прикрикнул: — Цыц!

Тут и мой сосед
Подкатил взопревший.
Взял мешок. Прислушался.
Опустил к ногам,
И, считай, впервые
Небо оглядевши,
Через две ступени
Рванулся к нам.

Слушает. Вздыхает.
Цигарку тушит.
Наконец-то шепчет,
Не скрывая слез:
— Дай хотя бы на день
Освятить мне душу,
А взамен... полвоза
Иль целый воз!

— Да бери хоть на два, —
Уж тебя уважу.
Но твои расчеты
Мне смешны:
С песней невозможны
Купля и продажа,
Потому что нету
У нее цены!

Эй, чубарики-чубчики,
Дождик, шибче лей-ка!
Чубарики-чубчики,
На три лада, ой!
Кружится по кругу
Древняя жалейка,
Словно месяц в космосе
Молодой.

...Ехал я на ярмарку —
Не юнцом, не старцем,
Не богат, не беден,
При одном коне...
А назад вернулся
С таким богатством,
Что навеки хватит
И вам, и мне!

ОДА КИЕВУ

1

В ночи колдовской на Ивана Купалу,
В тот миг, когда травы звучат, как напевы,
На праздник Любви выплывают, как павы,
Полянского рода прекрасные девы.

Плывут они в полночь по травам бесовским
На зовы костров среди чащ нелюдимых
И тихо пускают по волнам днепровским,
Как лебедей белых, венки для любимых.

И Киев — ребенок еще — на ладони,
И Кий еще с братьями княжит родными,
И Лыбедь в любистковом хмеле спросонья
Вздыхает и шепчет любимого имя.

Рассвет золотится сквозь воздух прозрачный.
Гонцы на комонях стучатся в ворота,
Всех будят и кличут на пир новобрачный,
На праздник рождения нового рода.

Родись-нарождайся — под пение гуслей, —
На травы стелись и на тихие воды
И радуй, мой добрый, мой светлый, мой русый,
Душевною песней
все в мире народы!

2

Над Лаврой эхо гулкое, рассветное,
Что к нам пришло из Несторовых снов;
И мост Патона устремлен ракетою
В грядущий день
из глубины веков.

Девичий смех над алыми закатами;
Полянский шепот стародавних трав;
И обелиск гранитный
над солдатами,
Что в битве пали,
смертью смерть поправ.

Былые сны, сегодняшние чаянья
И день грядущий в личиках ребят —
В тебе, как в книге,
Киев мой,
читаю я —
И хоры вечности во мне гремят!

3

Возрадуйся, мой город на Днепре,
С вершины всех пятнадцати столетий!
Живая ветвь — вся в росном серебре!
От корня русого — при звездном свете!

Калиновая зыбка трех мужей,
Что разметали полчища Батыя,
Возрадуйся, золотоглавый Киев,
Высокий щит славянских рубежей!

4

Славьтесь, о руки, в трудах — золотые,
Колос творящие, уголь и свет,
Сталь для космических наших ракет
И для любимых — шелка расписные!

Пусть будет верен всегда человек
Мирному небу и мирной Отчизне.
В жизни пребудем, как в песне, навек,
Песня ж — бессмертна, как дерево жизни!

ОСУЖДЕНИЕ СВЯТОСЛАВА

«О, князь мой, нет в битве тебя горячей,
И меч твой прославлен всем светом...
Но если идешь на врага ты,
зачем
Ему знать заране об этом?»

Заклятье волхва мрак колеблет ночной:
«Гей, князь мой! Пожнешь-таки бурю:
Идешь на Царь-град,
у себя за спиной
Оставив коварного Курю.

А Куря, трусливый в открытом бою,
Удар нанесет тебе в спину:
Пошлет печенегов — прикончить твою
Уставшую в битвах дружину».

Но князь, прорицанья волхва оборвав,
Взглянул на него величаво:
«Затем мне и имя дано — Святослав, —
Чтоб честно бороться за славу!»

...Ударили кони в сто сотен копыт,
Качнув в дальних Дельфах треногу!
И князь над Царь-градом возносит
свой щит,
И сеет повсюду тревогу.

И снял после битвы он грозный шелом
В лучах торжества боевого.
Взлетел оселедец над княжьим челом
Чернее крыла воронова...

Когда возвращались в родимый предел,
Дружинников к ночи сморило, —
И сделать привал Святослав повелел,
Пока не проснется Ярило.

Дружинники спали на ложе из трав,
И месяц, глаза свои щуря,
Глядел, как,
тесак свой из ножен достав,
За скалами прятался Куря.

Волхву ж не спалось.
Он всю ночь напролет
Стонал и метался от боли.
Ведь только затем он в несчастный поход
Пошел против собственной воли,

Чтоб в миг,
когда диким копьем своим тать
Пробьет Святослава кольчугу, —
Свое завещанье потомкам послать
Сквозь сечу и смертную тугу:

«На что твоя слава,
коль зря, впопыхах,
Ты гибнешь, мой князь величавый?
И как же нам жить после смерти в веках
С такою бесславною славой?

Гордыня — погибель твоя и беда.
И брешут лисицы нам в очи,
И душат нас горькие слезы стыда, —
Ведь мертвые сраму не имут —
когда
За край умирают свой отчий!»

БАЛЛАДА ПРОЩАНИЯ

Жена моя птицей ночною по мне отрыдала...
Но после всех бурь тихий свет и во тьме засиял.
Вдовец повстречался ей,
тоже хлебнувший немало,
И зажили вместе. И сын возле них подрастал.

С мальчонкою отчим былые утишил невзгоды.
(Война всех родных покосила огнем и свинцом.)
Спасибо солдату, что был он в те трудные годы
Жене — добрым мужем,
а сыну — хорошим отцом.

Сынок мой женат. Нет супруги на свете пригожей.
А вместо созвездий он выбрал служенье земле.
Есть внук у меня,
на меня как две капли похожий, —
Ему я дарю всю любовь, что скопилась во мне!

Он именем назван моим...
И, меня вспоминая,
На тихую площадь, где елей застыл караул,
Приходят они всей семьею Девятого мая,
И молча стоят, слыша давнего времени гул.

Солдатских имен батальоны
шагают по плитам,
Да только мое с тех гранитов не рвется в зенит...
Но нет для меня выше счастья под небом открытым,
Когда милый внук мой ладошкою тронет гранит.

Вот пальчиком маленьким между имен незнакомых
Выводит он с неба слетевшее имя мое,
И мир наполняется солнцем и цветом черемух,
И ветры земные стучатся в мое забытье.

Я ведать не ведаю, смертную пряча досаду:
То явь или сон,
что у Вечного бродит огня...
Но с внуком домой я приду и к застолью подсяду, —
Такой молодой, что никто не узнает меня!

И чарку поднимут, как это у всех нас ведется,
И примутся молча за свой поминальный обед,
И в светлой печали украдкой она улыбнется,
Взглянув на портрет мой далеких студенческих лет.

И муж ее мне тоже чарку наполнит по-братски,
И хлеба нарежет она в золотой тишине.

«Любил присолить», —
и посолит кусок мой солдатский.
«Спасибо, — скажу. — Только... что ты?..
Не плачь обо мне.

Так сердцу легко, и от счастья лишь хочется
плакать.
Но плакать не надо! Не надо, родная, молю!
Ведь ты меня любишь уже, как далекую память,
А я тебя так же, как в двадцать, живою люблю!»

А после мой внук побежит той тропою к детсаду,
Приветствуя криком волшебную в небе дугу...
И я уж не знаю: то ль он ускакал за леваду,
То ль я это крохой, из раннего детства, бегу.

Бегу напрямик в травяные хмельные настои,
Задорно кричу уходящему в синь журавлю.
Любую травинку своей ощущаю пятою,
Любую дождинку живыми устами ловлю.

Бегу и бегу, а вокруг — все до боли знакомо:
Кузнечики, бабочки, птицы... И пес на цепи.
И мать моя в синей хустине выходит из дому,
И вот, как пчела, в золотистой исчезла степи.

Еще я не думаю: как мне на трудной планете
По совести жить...
Просто травы сбиваю ногой,
И так мне легко, словно в том приснопамятном лете
Я все отработал.
И стал настоящей землей.

Бегу малышом. Спотыкаюсь. Колени сбиваю.
И мать мне стирает рубашку. И мчатся года.
И небо, как чистая совесть,
синеет без краю,
И в небе горит надо мною
бессмертья звезда.

НЕИЗГЛАДИМОЕ

Выйду утром и встану
в немеренном поле,
Повстречаю зарю
и пошлю ей привет.
Улыбнусь золотой
человеческой доле
За подаренный сердцу
немеркнущий свет.

Там калина горит, как державный рубин,
Там рубины Москвы — словно гроздья калин,
И все это мое: от небесных глубин
До грядущих годин,
Где шагает мой сын.

Припаду всей душою
к святым обелискам,
Что тревожат как память
израненных лет.
Поклонюсь безымянным,
до боли мне близким, —
За подаренный сердцу
немеркнущий свет.

Там за край окоема плывут зеленя,
Там над зыбкою мать не уснет дотемна...
И все это мое, и растет из меня,
Как зерно золотое —
На все времена.

Побратимам раскрою
широкие двери
И водой напою
всех уставших от бед.
Поклонюсь Переясловом
дружбе и вере —
За подаренный сердцу
немеркнущий свет.

Там с березою верба колышут рассвет,
Там у каждого в доме — и хлеб, и привет...
И все это навек, как грядущий завет,
Сберегу я, покуда
Мне светит мой свет!

* * *

Мы, поколенье пасынков войны,
Но мы не ждем доплаты от планеты
За серебро столь ранней седины:
Такая нам уж выпала анкета.

Мы ветви кроны солнечной одной.
Но разве что больней,
чем в наших детях,
В нас выстрел отзывается любой,
Еще порой звучащий на планете...

Так пусть же нить порвется поскорей
Меж войнами с их страхом
и смятеньем,
Чтоб мы остались в памяти людей
Последних войн
последним поколеньем!

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

Поэма

Был я — как все:
И не хуже других, и не лучше,
Вроде бы схож,
В то же время —
с другими не схож.
Ну а коль мир наш
Един в многоликости, — значит,
Цельной душою
Я с миром в согласии жил.

Просто жилось мне. И вольно.
Как доля велела.
Как пошатнулось? Не помню.
Но помню: когда.
Десять — минута в минуту —
Часы моей жизни пробили.
Именно в миг тот — запомнилось.
Именно — помню — тогда.

Будто иголкою
Что-то мне в душу кольнуло.
Думал: почудилось... Мелочь!
А ранку мою
Время незримо сверлило.
Когда спохватился,
Целым ущелием
Рана зияла в душе!

Я — к докторам.
— А кого же лечить? — вопрошают.
— Как? — я вскричал, удивясь. —
Перед вами же я! —
Скальпель безгубым смешком
Полоснул по живому:
— Ну, так кого ж? Ведь вас двое...
Кого из двоих?

...Как оно сталось? Забыл.
А когда — вспоминаю:
Шли мы из школы гуртом,
И внезапно у нас за спиной:
— Эй, казаки! —
чей-то голос раздался. —
Занятно,
Кто из вас первым
До вербы вон той добежит!

Разом рванулись.
И я — всех быстрее. Но вскоре

Чье-то дыханье
Остро плечом ощутил.
Глянул: сосед мой.
Да так напирает на пятки,
Что и слепой бы увидел:
Обгонит вот-вот.

Тут и кольнуло:
Да как же так? Я же ведь лидер!
Чуть не дистанцию всю
Пробежал впереди.
Кто же дал право ему
За полшага до цели
Первенство вырвать мое
Незаконно из рук?!

Как — не пойму,
А вот — где и когда,
не забылось:
Правой ногою
В рывке я соседа подсек.
Грохнулся наземь сосед мой.
А я, не смутившись,
Первым схватился
За вербную ветку... рывком.

В радости дикой
Крутнул ее так, что аж в пальцах
Хрустнуло что-то...
Но я позабыл обо всем
В криках хвалебных,
Победу мою увенчавших,
В стонах соседа,
Что кровь на коленях стирал.

Десять пробило тогда
На часах моей жизни...
Дома, в затишье,
Когда отдалилась хвала,
Глянул я в душу...
И двое во мне отозвались:
Я, кем вчера только был,
И сегодняшний я!

Первый потряс меня
Гласом покойного деда:
— Ах, ты негодник!
Да не было в нашем роду
Тех, что гребут не свое.
За... подножку соседу
Высохла б, словно та ветка,
Нога у тебя!

Ну а другой
(И откуда он взялся, не знаю)
Сухо, транзисторно
Сверху меня подбодрил:
— Плюнь ты
На все устаревшие эти запреты!
Первых, ты знаешь, не судят.
Тем паче в наш век.

Что-то родное
почудилось в первом...
Подумал:
— Может, пойду я
И вербе покаюсь моей? —
Тут вдруг второй
Свысока (моим голосом) грянул:
— Кайся, хоть тресни.
А я к своей цели пошел!

...С этой поры
За вторым и бегу я вдогонку,
Из притяженья земного
Едва вырывая стопу.
Он же, как будто курай,
В «адидасах» все скачет и скачет,
Только наклейки мелькают
На джинсах его.

Чуть не схватил его как-то
За львиную морду из Штатов,
Руку едва протянул —
Там уж галльский петух.
Где же поймать,
Если он на штанах то и дело
Ловко меняет заплаты
Из флагов чужих?!

Что же, ему-то легко:
Не пытает ни роду, ни броду.
Мне ж каково
Обходить все запреты в пути:
Взять напрямик,
Так нельзя же — озимое поле.
Шагу б прибавить — забор.
Во весь дух припуститься — межа!

Наперерез бы —
Так мама посеяла маки.
Или в обход —
Так державой обгон запрещен.
Вот наконец и лазейка.
За вход только странная плата:

— Переоденься-ка в наше
И топай! В дверях не торчи!

— Что значит — в наше?
— Узнаешь потом, — отвечают. —
Форму бесплатно бери,
А за все остальное плати.
Ах, безвалютный? — скривились. —
Ах, просишь поверить на слово?
Ну, так давай же хоть слово
Свое на почин.

Бросим на рынок его
В упаковке модерной.
Что ты задумался?
Брось предрассудки свои!
И не тяни!
Покупатель задержки не любит.
Банк и страну
В свое время тебе назовут.

— Да пропадите вы про... —
Я осекся, увидев:
Вот мой двойник
По колхозной пшенице бежит.
Мать лишь руками всплеснула:
— Куда ж ты, сыночек?
— Некогда, мама! —
в ответ просвистел он. —
Прогресс! —

Ветхий дедок
Поучить кой-чему его вздумал.
Встал на дороге
И совесть сует, как букварь.
Вырвал из рук
И в кармашек,
на «молнию», спрятал:
— Предок, спасибо...
Когда-нибудь, может, прочту.

Сельский погост.
Я подумал: хоть крест остановит.
Дедов. Дубовый. Да где там!
Лишь взмах каратэ —
Словно и не было.
Только на старой могиле —
От «адидасов»,
Как будто от траков, следы.

Некто с моралью к нему.
Он — очки на глаза дымовые:

— Дядька, с дороги!
Нет времени. Там разберусь... —
Вскрикнула тетка:
— Да ты ж поломаешь калину!
— Тетя! — отрезал. —
На трассе не садят кустов.

Тихий, седой
Задержать его вздумал бандурой.
Треснул ногою —
И музыка в щепки под ним!
Пальцем на пуп надавил он —
И взвизгнул транзистор.
— Вот вам, —
погладил пластмассу. —
Оркестр на все сто!

— Что за язык? —
Сокрушается горько учитель. —
Знаешь хотя б,
На каком говоришь языке?
— На современном! — отрезал. —
На вашем же только
Тени забытые
В ретроспектаклях смешить.

Вот и лазейка, знакомая мне.
Но лишь сунул —
Голову, кто-то:
— Хэллоу, куда?
Надо сперва во все наше
Одеться, любезный.
— Хе, — засмеялся. —
Так я уже в вашем давно.

— Ах, ну тогда, — потеплели, —
За вход лишь заплатишь. —
Ждут. Удивляются:
— Нет ни копья,
а спешил. —
Шарк по карманам:
— Вот тут что-то мне насовали.
Гляньте, быть может, сойдет,
Чтоб за вход уплатить?

— «Совесть», «мораль», —
прочитали.
Хохочут: — Ребенок!
Не конвертируется у нас.
Отстаешь!
— Ну, так поверьте на слово!
— Давай! — оживились. —

Но не из пластика,
Древнее слово давай!

— Вы — как учитель, — смеется. —
Я что-нибудь вам поновее:
«Кросы», «капуста», «комок»? —
Оборвали тотчас:
— Сыты по горло!
Ты дай нам чего понародней.
Легче продать...
То есть дать по эфиру,
прости!

— Что ж вам? — задумался. —
Может быть... про запорожцев?
Да про Отчизну небось,
Про истоки, родню?
— Это уж ближе, — сказали. —
Хотя маловато.
Может, калины подбросишь,
А нет — чебрецу?

Все это в тару из грусти
Мы вмиг упакуем.
Слез подмешаем
(Вот тут кое-кто и всплакнет),
Желчи накапаем
(Те же ребята помогут)
И прода... Тьфу ты, да ну ты!
Про... пустим в эфир!

— Надо ж, — вздохнул, —
Поломать мне калину без пользы!
Стойте!
Чебрец — это что же такое?
Чеснок? —
Плюнули: — Эх, ты!
Хоть деда могилу укажешь?
— Можно, — захлопал глазами.
— Так где же?
— Забыл.

Даже они удивились:
— Вот это феномен!
Дедово имя хоть помнишь?
— Так умер же дед!
— Э-э, — подмигнули. —
Когда по былому
Затужишь,
Кто разберется, где дедов там голос,
Где твой!

Враз побледнел:
— Вы ж скупаете... мертвые души.
— Дурень! Ударился в классику.
Ну-ка проснись!
Выброси азбучный сор
Из карманов быстрее
Вместе с моралью,
Раз лидером стать захотел!

Видит: попал.
— Да куда ж занесло меня?
В пекло?
Ну вас всех к бесу!
Мне путь этот не по душе.
— Что же, гляди!
А в других-то местах
мать родную
В качестве платы потребуют...
Не прогадай!

В страхе бежал
По дуге бесконечной, как будто
Кто-то там рвов накопал:
Подбежит — и назад!
Так и исчез.
Ни следа от бедняги.
Наверно,
Стерлись подошвы.
И знака не видно. Конец!

...Сколько я верст и веков
На исканья потратил!
Все перепутал, смешал...
Но, однако, постой:
Степь впереди замаячила
С кровлей родимой.
Стрелки в одну на полудне,
Я помню, слились.

Вдруг на пригорке
Такая открылась картина:
По-мусульмански
Сидит под ветлой человек.
Лик потемневший.
Потрескались до крови губы.
И в довершенье всех бедствий
Усохла нога, словно сук.

Вижу: пригорок знакомый.
И... старая верба.
«Он? — сжалось сердце в груди. —
Ну, конечно же, он!»

Вижу: сидит.
Вижу: плачет.
И ветку сухую
К вербе пытается
Слабой рукой приживить.

— Зря! Не срастется! —
Откуда-то вдруг прогремело. —
Лучше обрежь по сухому ее
И сажай.
Коли не примется —
Будешь сидеть кривоного,
Ну а коль примется —
Может, нога оживет!

Чей это голос? Откуда он? —
Глянул я вправо
И обомлел:
— Деду, вы ли? Дак как это так?
Вы ж до войны вечным сном,
Как я знаю, уснули...
— С вами поспишь! —
Оборвал иронически дед. —

Спал до суда бы до Страшного
Я преспокойно
(Нас хоть богами пугали,
А вас уж и черт не берет?),
Спал бы, — нахмурился, —
Но и до нас добрались вы.
Только подумать:
Над мертвым торги развели!

Я уж в слова не вникаю.
Другим потрясенный.
— Деду! — кричу. —
Да не... джинсы ли,
часом, на вас?
— А-а, — по коленям похлопал. —
Одежда что надо!
Очень практична
Для всякой работы в хлеву.

Только вот крой-то не наш.
Не умеют, как видно.
Надо б просторней в паху,
А то давит, хоть вой!
Ну, да уж мне все одно...
А вот вам, молодым-то,
Не разгуляться в таких —
Шаровары уместнее тут!

Суть же, конечно, не в том.
Из мешка хоть штаны себе шейте!
Лишь не лепите на них
То, что люди на праздник несут.
В наше-то время,
Хоть жили мы трудно, но знали,
В чем за скотиной ходить,
Что на красную пасху надеть.

То полбеды —
Коль чужие эмблемы пришиты.
Вот уж беда будет полная
(Вспомните деда), когда
Глупые чада,
Немудрым отцам подражая,
Ваши обличья налепят
Себе на зады!

И на того, что под вербою,
Снова прикрикнул:
— Ну, посадил?
— Посадил, —
тот несмело в ответ. —
А за совет вам спасибо!
Я, деду, молился
Век бы за вас,
Если б только нога ожила!

— Ветке молись! —
отмахнулся старик. —
И запомни:
Будешь с ногой,
Если ветка в земле оживет.
— Что же мне делать? —
захныкал. —
Спасите! Велите!
Все, что прикажете,
Сделаю я за двоих!

...Тяжко поднялся старик —
Борода застелила полсвета.
Поднял глаза к небесам
И, как будто по книге, прочел:
— Каждому стеблю поклонишься!
Всходы пшеницы,
Что потоптал ты когда-то,
Поднимешь с колен!

После прощенья проси у цветов...
А потом уж
Дядьку найди!
— Он же где-то на Волге погиб.

Как его в братской могиле найти?
— А по зову
Крови солдатской,
Коль «пепси» не вымыло кровь!

Ну а потом и мою
Ты отыщешь могилу.
— Деду! — Он съежился. —
Как же? Ведь крест я сломал.
— Цыц, негодяй! —
Рассверкался глазами. — Так, значит,
Будешь искать по следам
«Ади... дасов» своих.

После пойдешь
У бандуры попросишь прощенья.
Добре проси,
А не то онемеют уста.
Да не забудь и соседа,
Соперника в играх вчерашних,
И за подножку свою
Тоже прощенья проси!

А напоследок
В ночи, в чистом поле, ладонью
Горстку земли зачерпни,
Встань к востоку лицом,
Трижды промолви:
«Отчизна, прости!» —
И коль в полночь
станет светать, —
Это знак, что простила земля!

...Сколько отбило годов
С той поры на курантах столетья!
Где только быть не пришлось!
Да и я ль это был?
Иль кто другой?..
Но ту полночь запомнил я крепко.
Стало светать,
И в том свете увиделось мне:

Мальчик какой-то стоит
На знакомом пригорке,
Правой рукою
Портфельчик сжимает легко.
Вербная ветка,
Как будто ладошка сестренки,
На неокрепшем плече его
Мягко лежит.

Мать к нему полем ведет
Стайку маков багряных.

Золотом плещет
Пшеничное море вокруг.
А в этом море, как чайка,
Ныряет бандура.
Звездочка дядькина
Смотрит из Волги в Днепро.

Где-то я видел мальчонку,
Но где, позабылось.
— Кто ты? — шепчу.
— Неужели не знаешь? Твой дед
Только что был и просил передать,
Что какой-то
Камень с души его
Снят наконец навсегда!

А на прощанье сказал,
Что теперь его сон будет вечный
И что не страшен ему
Страшный суд,
Ибо ты
Не позабудешь теперь уж,
В какой он могиле
С предками рядом лежит,
Отработав свое!

Странно, последнее слово
Уже мои губы шептали.
Глянул: а мальчика нет.
Я один на пригорке стою.
Так на душе мне легко,
Словно этот пригорок
И не пригорок совсем,
А тот камень,
Что снял я с души.

— Господи! Будто вчера только
В школу тебя снаряжала.
Где ж тебе столько, сынок,
Намело седины?
...Мать — словно вишня.
Вешнее утро.
Скоро еще только десять пробьет.

СТОЮ НА ЗЕМЛЕ

Мама! Эгей, слышишь меня
сквозь морозы,
прогнозы,
заносы,
покосы
и перекосы?

Слышишь?
Может, ты уже спишь?
Слишком поздно. Долина,
калина,
рябина
и Украина —
спят...

Лишь не спят:
последние известия,
лифтеры в подъездах,
поэты местные,
известные и безвестные,
и далекие созвездия
в небе.

Послушай радио:
планы,
отсталые страны,
ракетопланы,
новинки экрана
и летающие блюдца;

а еще:
зоны,
циклоны,
тонны патронов,
число похоронных
из Вьетнама;

а еще:
хунта,
спортивные секунды,

китайские ультра,
английские фунты,
королевство Бурунди
и девальвация;

и еще:
грозы,
угрозы,
электровозы,
научный симпозиум,
«Проблемы коррозии» —
беседа академика;

а еще:
акции,
нации,
эскалация,
дезинформация,
экранизация
классических произведений.

А еще:
сено,
итоги сева,
юная смена,
спортивная замена
и в конце непременно —
прогноз погоды.

Полночь. Но:
бродят трамваи,
пары страдают,
гитары рыдают,
сны улетают —
и я пишу тебе.

Ты уж прости,
что неловко,
слаба, видать, подготовка.
Да и словесная обновка
воспринимается как издевка,
но всем нужна остановка
и серьезная перековка —
да все некогда.

Век такой, мама:
атомы и гены,
всюду — гении,
крикнешь на Лене,
слышно в Кении, —
одним словом, двадцатый.

А еще про вирши.
Слушай, как вышло:
«Белые вишни —
как белые вирши».
Вот так и пишем?
Здорово вышло,
правда же?

Мама читала,
Головою качала,
Тяжко вздыхала.
Взяла карандаш
И написала:

«Здравствуй, сыночек. Я ж тебе
говорила, милый, лучше укутывай шею,
а не то застудишься. Вот и догулялся!
Видать, у тебя жар, потому что добрую
половину письма я не взяла в толк.
А вишни и вправду белые. Наверно,
хорошо уродят, ну как молоком
облитые. Так ты, может быть,
приехал бы?
А?»

Еду!
Вагоны,
перроны,
прогоны
и перегоны.

Наконец Зачепиловка.
Вышел на Бабенковой. И сразу же:
— Сыночек!!! —
Мама...
Бабки...
(Деды уже померли.)
Тетки...
Дядьки...
Родичи...
— Здравствуйте, мама! Вот он и я.
(Ты смотри: заговорил нормально!)
Стою на своей земле.

ЭХО

О если бы эхо
могло умещаться в конверте
(...конверте...),
Мы столько б узнали о мире,
молчащем ночами
(...в печали...),
А то, понимаете, выстрел последний —
и верьте
(...не верьте...);
Ни звука в ответ. Только мертвый
с пустыми очами.
— Патроны — беречь! Бескозырки — на пояс! —
команда
(...шаланда...).
Последняя схватка. Дымок самокрутки.
И пепел в окопе
(...окопе...).
— Кто выйдет живым —
пусть расскажет в бригаде
(балладе, ладе...).
— Ну что, докурили? Прощай, Севастополь!
Прости, Севастополь...
Никто не прошел.
И в этом была своя правда
(...и право...),
И эхо навек заблудилось в глухих катакомбах.
Остался закат лишь,
как траурный прапор
(...над прахом...).
Да где этот прах —
только пыль да осколки от бомбы!
Одна — на весь взвод.
Прямо под ноги.
С ясного неба.
И — в клочья всех разом.
И землю в дыму закачала.
И — все.
И — ни слова.
И эхо молчит.
И — как не было!
Ну как же — ни слова,
коль в миг этот
мать закричала —
И ты народился.
Ты — сероглазое эхо.
(Среди них один сероглазый был... Сероглазый
был... Сероглазый...)

* * *

Наша мама — сизая горлица.
Все к ней ластятся — в поле,
в горнице:
Золотая пчелка — сережкою,
Небо — шалью,
солнышко — брошкою.
Дуб седой — прокуренным прадедом,
Белочка — разрисованным пряником,
Жура-журавель над криницею —
Чистою слезою-водицею,
А земля — пшеницею ярою,
А года — задумчивым явором,
Что грустит над ней с сорок первого:
«Потеряла ты мужа верного!»
А луна — неколотым золотом,
А береза — утренним солодом,
Хата — птицей,
дорога — вехою,
А туман — слезою-утехою.
Печь — теплом,
ночь — тоской великою...
А она ко всем —
песней тихою.

* * *

В былые дни,
когда мои штаны
Еще держались на одной подтяжке,
Я все никак не мог уразуметь,
Что крутится Земля,
как шар огромный.

Когда б Земля, —
логично думал я, —
Была как шар, да и к тому ж кружилась,
Тогда б, наверно, кавуны с баштана
Мгновенно врассыпную разбежались,
А то — лежат...
Эх, милая пора!

Ну что возьмешь ты с малого дитяти,
Когда и нынче —
хоть уже в летах! —
Остановлюсь порой возле баштана,

И так захочется подкрасться тихо
И повязать разрозненные плети,
Чтоб вдруг не разбежались кавуны.
А что вы думаете, и связал бы,
Когда б не сторож сивый
да не годы,
Что за плечами прыскают в кулак...

ПОДРАЖАНИЕ ПЕСНЕ

Мать посеяла сон
под моим окном,
А взошел подсолнечник.
И теперь: хоть буран, хоть бурьян,
хоть туман, —
А мне — солнечно.

Мать посеяла лен
под моим окном,
А взошло полотно.
И теперь: хоть гроза, хоть слеза
на глаза, —
Я иду все равно.

Мать посеяла снег,
а вдоль прясел и слег
Уродились цветы.
И хоть вьюги поют —
голос мне подают
Журавли с высоты.

Мать посеяла хмель,
чтоб стелила постель
Ее сыну жена.
Равнодушно прошли
все невесты земли,
Все ж решилась... одна.

Мать весь лен убрала,
и вино на столе
В чашах пенится,
И опять за окном
по осенней земле
Листопад стелется.

Лишь один не увял,
не опал в тишине
Мой подсолнечник.
Я несу его в мир,
чтоб не только мне,
Чтоб и вам было солнечно!

* * *

Гуляет ветер, холодный ветер в дому открытом,
Терновник синий в туманах сизых молчит и терпнет...
Ты мой далекий, золотокосый, последний квитень *.
А я вот серпень... * Да, я уж — серпень...
Серпень...

Пора настала в лугу вечернем косить отаву.
Я вышел в поле, а месяц в небе повис как серпик...
К тебе, мой квитень, стучится в двери еще лишь
травень *,
А я вот серпень... Уже я серпень...
Серпень.

Уж так судилось: во мрак осенний глядеть нелепо
И журавлино кружить ночами над твоим сердцем,
Ведь между нами легли навеки лета и лето, —
Как между квитнем и между серпнем...
Серпнем...

* * *

Ты — звездою... А я — кленом...
Ты — звездою.
Ах, когда бы и осталось так в веках!
И ходил бы между небом и землею
Белый ветер в самодельных сапогах.

А девчата из проектных институтов
Эти клены ставят в профиль и анфас.
Подровняют их, подпилят и подкрутят:
Как-никак, а есть порядок и... асфальт.

Все замерят, предусмотрят все детали,
Запланируют положенный газон,
Чтоб вдоль улицы колоннами шагали,
Чтоб не лезли, где не надо, на рожон.

А мы яростные песни в жизни пели,
И любили, и страдали от обид.
И детей своих сажали на пропеллер,
И срывались с предначертанных орбит.

Не печалься, дорогая! С небосклона
Ты склоняйся надо мною иногда...
Ты — звездою... А я — кленом...
Будут клены!
Только б ты не угасала, как звезда...

---

* Квитень — апрель, серпень — август, травень — май (*укр.*).

* * *

О, желтый цвет прощаний и разлук
Над строгими квадратами перронов!..
Состав мой подан,
И опять из рук
Уходишь ты под сень вокзальных кленов.

— Ну что ж, прощай, любимая!
Пора! —
Я на стекле вычерчиваю звуки...
А ты мне не жена и не сестра, —
Не плачешь и вослед не тянешь руки.

Прощай...
Мы слишком сдержанны с тобой
И боль свою надежно в сердце прячем...
А что, коль этой ночью голубой
Мы вдруг возьмем и все переиначим?

И скажем полустанкам:
«Суеты
Довольно с нас! Мы от дорог устали!»
Но ведь тогда бы ты была не ты,
Да и меня бы люди не узнали.

И вновь: — Прощай! —
Зеленый вспыхнул свет.
И месяц не повел на небе бровью...
И шутит всю дорогу мой сосед
Над этой платонической любовью.

А я так счастлив,
что во тьме,
в толпе
Ты крик прощальный в сердце подавила
И мне рукою щедрой подарила
Тоску,
и боль,
и память о тебе.

Зато я знаю:
будешь, как сосна,
Стоять у края старого перрона
И ждать меня,
хоть скроется состав
И я уже не выйду из вагона.

* * *

Я бы молча сквозь вечность глядел в зенит,
Я б давно уж землею стал...
Да вот чертова девка на круче стоит,
Опоясав ветрами стан.

Безвозвратно истлели и меч мой и щит,
Надо мною гудит Днепрельстан...
Но вот чертова девка на круче стоит,
Опоясав ветрами стан.

С той поры, как я ворогом был убит
И мой царский померк венец, —
Вот как стала на круче, так и стоит,
И в зеницах лукавый бес.

И зовет, и чарует бровью крутой,
И пьянит, как медовый цвет,
Перехваченный в стане разрыв-травой
Колдовского зелья букет.

Эх, как встал я — аж дрогнул скифский курган,
Распугавши римских гусей!
Взял обломки меча, пектораль-талисман
И украдкой отнес в музей.

Я оделся модерно в нейлон и лавсан,
На свиданье пришел, знаменит.
А она, опоясав ветрами стан,
На другой уже круче стоит.

Я рванулся за нею, отбросив стыд,
Я побил олимпийский рекорд!
Но она уж на третьей круче стоит
И хохочет... Ну что за черт!

Я решил умереть — ни тоски, ни обид.
Пусть гудит надо мной Днепрельстан...
Только чертова девка на круче стоит,
Опоясав ветрами стан.

ПЕСНЯ О МАТЕРИ

Засеяла поле
летами своими, как житом,
Земле поклонилась,
в степи нарвала спорышу.
Детей научила,
как в мире по совести жить им,
Вздохнула легонько —
и тихо пошла за межу.
— Куда же вы, мама? —
бегут ее дети за нею.
— Куда вы, бабусенька? —
внуки кричат у ворот.
— Да я недалечко...
За солнышком... Может, успею...
Пора мне, родные...
Живите, не знайте забот!
— Да как же без вас мы?
Да что вы надумали, мама?
А кто нам, бабуся,
расскажет опять про лису?
— А я вам оставлю
и радуги все, и туманы,
И золото в поле,
и вербу, и птицу в лесу.
— Не нужно нам радуг,
не нужно нам серебра-злата,
Лишь только бы вечно
мелькал ваш платок у ворот.
А вашу работу возьмем на себя, если надо.
Останьтесь, мамуся!
Пусть солнышко вас подождет! —
Она усмехнулась
и вся почернела от боли.
Взмахнула рукою —
и дрогнул рушник на весу.
«Счастливой вам доли!» —
и стала задумчивым полем,
Землей,
и туманом,
и вербой,
и птицей в лесу.

---

* * *

Александру Пушкину

На гóрах Пушкинских,
на реках псковитянских
Такая в душу льется чистота,
Что белый свет читается с листа
От звезд до идолищ тьмутараканских...
На горах Пушкинских,
на реках псковитянских.
Как потускнел в сплошной голубизне
Джинсовый лоск талантов шарлатанских!
Какой ничтожной показалась мне
Борьба за первенство, гори она в огне! —
На горах Пушкинских,
на реках псковитянских.
Сорви позор бумажного венца,
Что ты напялил сам себе в угоду,
И ощутишь в тиши дерев гигантских,
Что сам Народ растит себе певца,
Что сам Поэт прирос душой к народу...
На горах Пушкинских,
на реках псковитянских.
Когда захочешь, чтоб, добром дыша,
Тебе раскрылась русская душа,
Что вырастает из корней славянских, —
Замри на той меже, где среди дня
Не гасит вечность своего огня, —
На горах Пушкинских,
на реках псковитянских.
Стоял я, упираясь в небеса...
И чистым оком житняя роса
Явила Канев в далях марсианских,
И два Бояна, вставши в полный рост,
Творили в две руки бессмертный мост
На горах Пушкинских,
на реках псковитянских.

* * *

Тарасу Шевченко

Упал росой — и утолил наш голод.
В любой душе, в любой звезде воскрес.
Его устами небеса глаголят.
Рокочет он глаголами небес.

Нетленный, ибо весь он — в мудром слове,
Что прорастает в душах яр-зерном.
Он каждый миг является нам внове,
Чтоб нас в самих себе будить добром.

Звезда его, как с вестью доброй птаха,
Летит, минуя межи на земле,
Превыше всех корон земных папаха
Восходит на Тарасовом челе.

Кожух его хранит тепло отавы,
И верба с его думою в глазах
Вросла в зенит, как веха нашей славы,
И осенила доблестный наш шлях.

В криницах глаз — и высота, и воля,
А ус казацкий тронула зима.
Он — весь дитя народа, и глаголет
Его устами Истина сама.

В папирус лет его вписали имя
Калиновым уставом журавли...
И на земле, терзаемой доныне,
Его устами, вещими, святыми,
Народ глаголет правду всей земли!

* * *

Ивану Франко

Покропи меня, дождичек,
тихо меня покропи.
Может, вырасту терном... ромашкою.
Но — не осотом.
Просмоли до суровости пряжу житейской тропы,
Чтоб вовек не рвалась,
словно нить меж Франком и народом.
...Желтый лист покружил и, увядший, на плечи упал.
Превратился в сонет.
А в сонете — в начало соцветий.
Тайна тайн — зарождение духа в глубинах столетий.
Воскрешение времени — в слове,
начале начал.
Щедрый дождь — на посевы.
И тишь — словно мудрая речь.
На ветвях светят капли,
как слезы любви на ресницах,
Честно жил ты, Иван.
Тень за плугом твоя — на страницах.
Нам не только собрать —
нам еще выпал жребий сберечь.
Для посевов грядущих
зерно, что ценней янтаря.
Тихо падает дождь, как твое сокровенное слово,
И душа хлебороба для трудного дела готова.
Поле ждет человека.
И в слове играет заря.
...Покропи меня, дождичек,
тихо меня покропи.
Может, вырасту терном... ромашкою.
Но — не осотом.
Просмоли до суровости пряжу житейской тропы,
Чтоб вовек не рвалась,
словно нить меж Франком и народом.

ВНЕВРЕМЕННАЯ БАЛЛАДА

Об осени дождь лепетал за окном,
Рассвет был бледнее камеи.
В камзоле старинном с фамильным гербом
Вне времени высился Веймар.

Двадцатым столетьем гремело вокруг,
Машины теснились, как готы.
...Перо отложил и задумался вдруг
Иоганн-Вольфганг Гёте.

Пошел он развеяться в свой букенвальд
Дорожкой в свечении млечном.
Там буки, блюдя гармонический ряд,
Стояли, мечтая о вечном.

Под кроны ступил он — и вскрикнул, узрев
Сквозь белые клочья тумана:
Огромная просека в гуще дерев
Зияла, как свежая рана.

Врубался просвета железный тесак
В ничто. В ирреальную нишу.
И он онемел: что глаголет сей знак?
И чей там свинцово нацелился зрак?
Но буки молчали. Мир спал и не знал,
Что скоро рожден будет... Ницше.

Однако прошел и забылся испуг.
Вновь тишью манили дороги.
И желуди бронзой ложились вокруг
Ему в олимпийские ноги.

Но вновь ему прежний пригрезился сон,
И вздрогнуло сердце фатально:
Почудилось, топчет не желуди он,
А пальчиков детских фаланги.

Ты скажешь: построены даты не в лад
В балладном круговороте...
Но друг мой, куда ж подевать Бухенвальд,
Казавшийся лесом Гёте?!

ТИРАН И ХУДОЖНИК

Притча

О зловещий гнев сатрапа: хоронись, вперед не лезь!
Скипетр стискивает лапа, черной местью пышет весь:

«Кто меня, любимца бога, осмеял резцом своим?»
Скульптор пал владыке в ноги, но тиран неумолим.

«К смерти!» — судьи прокричали, и печать —
на приговор!
Но тиран смягчил: «Вначале пусть помается средь
гор!»

...Через год, со свитой рьяной проезжая по горам,
Первый фаворит тирана бедолагу встретил там.

«Свой талант губить негоже, — царедворец
подсказал, —
Скалы — слава богу — тоже для таланта матерьял.

Коль не хочешь сгинуть сдуру — глыбу выбери
мощней
И великого фигуру изваяй, да поскорей!

И когда закончишь дело, угодив ему во всем, —
Выходи на волю смело: ты прощен своим царем!»

О свободы сладкой путы! О свободы дикий цвет!
Над скалой трудился скульптор много зим и много
лет.

Но когда тиран гранитный головой достиг высот, —
Был в стране кровопролитный учинен переворот.

«Вот ты где, лакей сатрапский! — взял народ за чуб
творца, —
Уж теперь за норов рабский досидишь ты до конца!

А чтоб легче было кару на своем сносить горбе,
Мы царя подкинем в пару для компании тебе!»

...Страшный жребий проклинают, цепью скованы
одной:
«Кабы знать...» — один вздыхает. «Кабы знать!» —
вопит другой.

* * *

Двери в святилище Слова ногой отворивши,
Влез на алтарь, похмелился из чаши причастья.
Трое юнцов начинающих сникли, как мыши.
Опытный критик услужливо вынырнул: «Здрасте!»
(«Женка... и дети ж, — подумал. — Ох, страсти-
мордасти!»)

«Бездарь!» — шептались за дверью (ведь всё
понимали!).
Ну а скажи — и окажешься тотчас в ответе.
Вхож хоть куда он... — и кверху глаза поднимали.
(Да, безусловно: у каждого женка и... дети.)

Только Поэт, свою мудрую осень встречая,
Так прозаически мыслил, застыв на пороге:
— Не приведи, чтобы люди, за все воздавая,
Имя мое с облегченьем прочли
...в некрологе!

ДИВО

Судить о целом мире не берусь,
А все же побывать и мне случалось
В том многоликом мире, что, как улей,
Гудит на сотнях языков Земли,
И я дивился яркому несходству
Поверий, рас, обычаев, ландшафтов,
Но среди всех заморских этих див
Одно никак постичь я был не в силах.
Сказать, чтобы мудрено было слишком,
Так нет — и не сыскать, пожалуй, проще!

...Есть тип людей, то бишь, стереотип,
Что в наши дни встречается нередко.
Его клише: в Канаде и на Фиджи,
В Японии, в Америке, в Париже.
(Как будто возят из страны в страну
Его перед тобой: еще вчера лишь,
Сдается, с ним в Нью-Йорке распрощались,
А он уже вас в Бельгии встречает,
В другой стране, а на лицо — тот самый!)
С ним легче легкого войти в контакт:
Владеет всеми языками мира,
Ни одного не зная... Или зная
В пределах суеты и дел житейских
(Для сердца же...
А сердце здесь при чем,
Когда, простите, речь идет о деле.)
Как правило, широкая натура,
Без комплекса вчерашних сантиментов,
Он с легкостью незлобно посмеется
Над вашим и над здешним пережитком
Иль «пусть по-твоему, патриотизмом».
Обняв, через плечо мое взглянуть
На собственную руку не забудет
С японскими часами: не пора ли?
И только возле трапа мимоходом
Как будто кинет, отведя глаза:
«Ну, как оно живется там у нас...
У вас, простите, как теперь живется?» —
И, спохватившись, выдаст смех небрежный
Модерного парняги, что давно
С наивом распрощался хуторянским:
«Что, все еще... про корень наш гудим?» —
И, за плечо международным жестом
Потеребив, пластмассово добавит:
«Ну, что ж давай... лети в свое гнездо.
Салют вам всем!» — и шагом деловитым
Хозяина, считай, планеты целой
Направится в людской водоворот.
И только за углом, на перекрестке,

Уверившись, что я его не вижу,
Внезапно опадет он, как листок,
Прибитый ветром из чужого сада.
...Пожухло-серый, слившийся с ландшафтом,
В любой стране всегда один и тот же,
Растает меж отсталых автохтонов,
Спешащих каждый к своему гнезду.
От них несет рабочим крепким потом,
Чужим вином и яствами чужими,
Которые для них для всех — свои.
И, плоти их живой коснувшись, он
Увянет, словно старая газета,
Отправленная в мусорный контейнер.
...Стоишь, растерянный: а был ли вправду?
Как будто бы и не был, хоть и был.
И только на углу, в бензинном смоге,
Остался привкус дыма сигареты
Да в сумерках — какие-то две точки
Или глаза.
И смутная тоска
По явному чему-то: «Ну, так как там
Теперь у нас... у вас, простите?»

...Коснулся лайнер наконец бетона.
Вздохнуло сердце: слава богу, дома!
На площадь из дверей аэропорта
Я выхожу, а он уж тут как тут
С международным жестом и с улыбкой,
И на одном из языков планеты
(Похоже, на украинском сегодня)
Стрекочет бодро: «Ну, здоров... Салют!
Так как же там у нас... прости, у них...» —
Твой чемодан бросает по-хозяйски
На автокар подъехавший, и что-то
Сквозь маску бодрости его натужной
Прислужливо-пугливое сквозит.
И в двух местах, где быть должны глаза,
Желтеют два нагих листка промерзлых,
Прибитых ветром из чужого сада,
Которым нет возврата, потому что:
Где этот сад — забыто навсегда.

...Страшнее смерти, когда в целом свете
Ни жить, ни умереть достойно негде,
Когда ты свой повсюду — и чужой!

ИСКУПЛЕНИЕ

1

Словно по житу, по жизни бежал и бежал.
Если бы мог, затоптал бы и в небе зарницу.
Брал на прицел журавля, и луга затоплял,
И по дороге плевал легкодумно в криницу.

А оглянулся — и дрогнула в страхе рука:
Страшной пустыней из прожитой жизни подуло.
В трубах бетонных бессильно хрипела река,
Перья летели, как листья с иссохшего дуба.

Пить захотелось — криница чернела, как дот.
Мертв соловей был, и жабы забились в трясины.
Дымом плевал мне в глаза ядовитый завод.
Воздух последний, давясь, пожирали машины.

2

Снилось иль грезилось:
рыбою стал.
Древнее в теле проснулось чутье.
В нерест дорогу столетий искал
И потерял у плотины ее.

Бился в бетон.
Сваи клял и быки.
Кровью клубился, идя напролом.
Тяжко болели в локтях плавники.
Гибли наследники в лоне моем.

3

...И превратился вдруг в лебедя белого-белого.
Крылья свои над иссохшей землею простер.
Тускло блестели свинцовыми, сизыми бельмами
Нефтью залитые очи погибших озер.

Но наконец синий блеск увидал.
Рад был... В воде мои крылья сомкнулись...
А как взлетел — все вокруг содрогнулись:
Черным я стал.

Взвился я в поисках чистых, нетронутых речек,
И — надломилось крыло, лишь я вниз посмотрел:
Целился в небо с земли из ружья человечек.
Люди!
Да это ж я сам себя взял — на прицел!

4

В страхе проснулся... И вот я — у луга.
Тихо текла к горизонту трава.
Серым ручьем заструилась гадюка.
Как я был рад ей: — Жива!

Важный журавль над водой голубою
Академическим шагом ступал.
Небо гудело пчелой надо мною.
Солнца сиял драгоценный опал.

В пруд заглянул я, в волшебный кристалл,
Чистый, как совесть.
И верите ль, снова
В нем я увидел себя, молодого,
Хоть и седым я давно уже стал.

* * *

Ох, научился ж прощать!
Всем дарю я грехов отпущенье.
Даже врагов не желаю враждою стращать.
Только б и горя!
Однако в таком всепрощенье
Можно дойти до того,
что и сам себя станешь прощать!

* * *

В жизни я был на мгновенье судьбою пригрет,
Знаю, как падать в забвения вечные травы...
Зрелища нет на земле тяжелей, чем поэт,
Жалкой подачки просящий под окнами Славы.

БАЛЛАДА О МРАМОРНОЙ ФИГУРЕ

1

Подвластный лишь правде единой, оракул
Поднялся над страхом людским и над мраком,
И молвил: — Не зря помертвела вода, —
Мужайся, народ! К нам явилась беда! —
И в землю светило вонзилось, как конус,
Когда уходил к своим пращурам консул,
Что правил сурово, да правду стерег,
И был справедлив средь забот и тревог.
В Сенат не локтями торил он дорогу,
Не гнал впереди себя ликторов строгих.
Он к людям сходил с олимпийских вершин,
Как первый из всех,
равный всем Гражданин.
Оконные веки смежились в печали,
И кони копытами скорбно стучали,
И деревом скорби обуглился плач,
И ворон на небе завис, как палач.
Достойного власти
три дня и три ночи
Искали в Сенате, трудясь что есть мочи,
И вдруг всех потряс чей-то радостный бас:
— Тот, кого ищем, — он тут, среди нас!
...Убогий, хромой, свои выпучив зенки,
Всегда он тащился в последней шеренге,
И на ж тебе — странный судьбы поворот:
Он должен вести за собою народ!

2

Избранник, Сенат почитающий свято,
Недолго ходил в должниках у Сената.
Лишь бровью повел, на свой глядя синклит, —
И старый в огонь полетел реквизит.
Затем, лишь удобный представился случай,
К себе он потребовал скульпторов лучших.
И вскоре усердием этих рабов
Вокруг народилось, как в роще грибов,
Великое множество статуй отменных
Усопшего консула в позах надменных.
«Зачем? — удивлялся мудрец и знаток. —
Покойный такого бы вынесть не смог!» —
Ворчали. Вздыхали. И старый, и малый.
Чем дальше, тем выше росли пьедесталы.
А что до того, к т о, з а ч е м и ч е г о, —
Юпитеру знать и любимцу его.
Он знал... И старался почти в исступленье...
А вы-то способны понять это рвенье?
Ведь мрамор тесать каждый мастер готов
Не только во славу одних мертвецов!

Ночами, как призрак, средь факелов алых,
Он тяжко бродил между тех пьедесталов,
И страх в души редких прохожих вползал,
И месяц с испугу в глазах замерзал.
Все что-то терзало его и томило,
И вдруг среди ночи пришло, осенило:
Рванулся к столу, взял стило... И тотчас —
Чертеж на пергаменте, словно приказ!

3

Глашатаи тут же с огнями и криком
Собрали испуганных скульпторов мигом,
И каждый притих, в сердце чувствуя дрожь,
Когда он швырнул всем им под нос
чертеж
Огромного — выше горы — пьедестала:
— Теперь же начать! Не жалеть матерьяла! —
И скульпторы, глядя с тоскою на дверь,
Покорно сказали: — Теперь, так теперь! —
Ах, это искусство! Смесь хлева и храма!
Лукаво и мягко поблескивал мрамор,
И, как из воды, на глазах вырастал,
Под стать Эвересту, гигант-пьедестал.
...И вот наконец-то подняли в натуру
На ту верхотуру предтечи фигуру.
И кто-то при том (кто — поди вспоминай!)
Велел ее сдвинуть немного на край.
Но, видно, с таким они рвеньем сдвигали,
Что вышел за край кончик правой сандалии,
И рядом с фигурой подвинутой той
Возникло вдруг место еще для одной.

4

И выпала ночь: голубая, без края...
И месяц качался, сережкой сверкая,
И стражники спали за белой стеной.
Лишь консула сон обходил стороной.
Какая-то страсть его сердце сжигала,
И с места срывала, и в спину толкала
Сквозь ночи и сны, сквозь глухую тоску —
К тому, что не всем суждено на веку.
Бежал он, за меч свой схватившись пугливо,
Пока на дороге не выросла глыба
Того пьедестала, который он сам
Задумал, на зависть чертям и богам!
Наверх он взглянул и застыл в изумленье:
Над ним, в облаках, как ночное виденье,
В мистическом свете, грозна и нема,
Летела фигура, как вечность сама.
И он ощутил себя жалким и нищим
С богатством своим и отличием высшим,

С войсками, с покорностью многих горбов,
С любовью рабынь и усердьем рабов.
О, все бы он отдал — и власть и богатство, —
Чтоб так же вот гордо над миром подняться,
При жизни еще, при ее суете
Увидеть себя на такой высоте!
Глядел и глядел он, застыв, словно льдина,
На профиль и стать всех веков исполина.
А, может, все это приснилось ему?
Но что же он видит — о боже! — сквозь тьму?
Фигура качнулась... И вдруг... Что такое?
К себе его мраморной манит рукою.
Он ждал этой славной минуты... Он знал,
Что раз в тыщу лет тот магический знак
Любимцам своим за труды и тревоги
С небес посылают всесильные боги.
О, миг озаренья! Не медля нимало,
Полез по отвесной стене пьедестала,
Хрипя, извергая потоки хулы
На тех, что старались все сгладить углы!
И ноги скользили, и руки срывались,
И потом соленым глаза заливались,
И на ухо что-то нашептывал бес...
Но он не сдавался — все лез и все лез!
И вот уж схватился за край пьедестала...
Но что это, боги? В подошву сандалии,
Что вышла за грань, он уперся челом...
Насмешка судьбы? Разрази ее гром!
И снова напрягся он, справясь с досадой,
И вот разминулся с нежданной преградой,
Но, видно, стал скользким от пота карниз,
Мгновенье — и камнем он грохнулся вниз!
Был страшен удар — и средь дрогнувшей ночи
Из черных орбит его выпали очи.

(Не ворон черный выпил после брани,
Не ворон выжег, гибелью грозя, —
От сотрясенья выскочили сами
Холодные, стеклянные глаза.)

И тут же о камень разбились во мгле,
И гул покатился по сонной земле.
Как будто очнувшись от этого гула,
Вдруг ожила мраморная фигура
И через плечо за блестящий карниз
Она поглядела, прищурившись, вниз.
И хрустнула тишь, как скорлупка ореха,
И прыснула ночь, не сдержавшая смеха,
И каменный хохот ударил, как гром,
Аж взвизгнуло небо разбитым стеклом...
Затем, отошедши от края подалее,
Фигура поправила пряжку сандалии...
И встала она в самом центре опять,
Как ей и положено было стоять!

БАЛЛАДА РАСПЛАТЫ

1

Солнце в тучу садится — то ль война, то ль потоп?
Время в вечность стремится, как транзитный на Чоп.
Старость веки смежает, чтобы юности — жить,
А земля продолжает бесконечно кружить,
Бесконечно кружить.

В мяч девчонка играет у окна своего.
То швырнет, то поймает, как планетку, его.
Над девчонкою звонкий синий полдень дрожит.
Под ногами девчонки — неизвестный лежит.
Неизвестный лежит...

Знал он верного друга и надежный пароль.
Даже месяц над лугом напросился в патруль.
Почему же дорога обрывает следы?
Да под сердцем тревога, как предвестник беды.
Как предвестник беды.

Все знакомое с детства — от леска до реки.
Только что-то под сердцем прошептало: «Беги!»
От кого — и не зная, он рванулся в лесок.
Но струя огневая угодила в висок.
Угодила в висок.

Те окопы бурьяном заросли навсегда,
А измену и рану схоронили года.
В сорок третьем, в апреле (за расстрелом расстрел),
И архивы сгорели, и донос тот сгорел.
И донос тот сгорел.

В мяч девчонка играет у окна своего:
То швырнет, то поймает, как планетку, его.
В шерстяной кацавейке, чуть прищурясь на свет,
На нее со скамейки смотрит ласково дед.
Смотрит ласково дед.

Луч дрожит серебристый у него в волосах.
Закатился тот выстрел, как луна — за леса.
В сорок третьем, в апреле (за расстрелом расстрел),
И архивы сгорели, и донос тот сгорел.
И донос тот сгорел...

Может быть, и не надо ворошить старину?
Может, в землю лопатой закопать ту вину?
Оступился... Ну, что же? Отсидел — и капут!
Ведь предал одного же! Остальные — живут!
Остальные — живут!

2

Тут быль обрывается — больше не надо!
Взамен же врывается в строфы баллада

О том, как по мертвым
стенают сычи,
Как знаки астральные бродят в ночи.
Плывет домовина — над нею в печали
Застыли, с горящими тайной очами,
И хвоя, и слезы, и трепет детей,
И все, как у всех,
как у добрых людей.
А где-то, с поллитрой разделавшись смело,
Взялись копачи
за нехитрое дело.
И юмор их едок, и смех их остер,
Лопата с лопатой ведут разговор.
Уже их работа к концу подходила.
Вдруг смолкли лопаты.
Нечистая сила!
На них, предвкушавших работы конец,
Из мрака смотрел в две глазницы...
мертвец!
И пальцев фаланги, взывая к расплате,
С таким мощным гневом
сплелись на гранате,
Что даже видавшие смерть копачи
Землей закидали могилу в ночи.
Но если б на этом и кончились страхи!
В другой раз за дело взялись работяги,
Но снова на них, изведенных вконец,
Из мрака смотрел в две глазницы...
мертвец!
На что копачи уж материалисты,
И те взволновались:
— Тут что-то нечисто!
За плату и грех закопаем тотчас.
Но эта работа — тьфу! тьфу! — не про нас! —
И сколько другие потом ни копали,
Как только знакомой меты достигали, —
Из каждой могилы —
магический Знак:
Виденье с гранатой,
зажатой в кулак!
...Доныне в беспамятстве адском ночами
Он просит ночлега последнего в яме.
Но снова и снова в безумных глазах
Горит, отражаясь,
магический Знак!

•

О, как он мечтает вернуться в тот полдень
разбитый,
Чтоб выкупить право на смерть в том огне и дыму!
Но двадцать мильонов сплотились в таком
монолите,
Что места меж мертвыми нет и не будет ему!

МАРШАЛ

Природою скроено крупно,
Подсвечено глаз синевой,
Скалою вздымается круто
Чело над прошедшей войной.

Как отблеск победы прекрасной,
Как память далеких атак,
Сверкает алмазный и властный
Его полководческий знак.

И смотрит в глаза своих внуков,
Как в совесть погибших сынов, —
Легенда по имени Жуков,
Архангел гвардейских полков.

Событья поры достославной
Уходят за вечный маяк.
Все глубже стремленье —
державный
Его разглядеть Зодиак.

Актеры высокого ранга
Еще при герое самом
Людей потрясали с экрана
Отвагой его и умом.

Но снова и снова казалось,
Что в прошлое жизнь не вдохнуть,
Что вновь за экраном осталась
Его потаенная суть.

И снова в квадрате портрета,
Отбившись от Марсовых рук,
Его фронтовая планета
Свершала задумчивый круг.

И в память натужно стучалось
Все ночи и дни напролет:
— Куда он глядит сквозь усталость
С таких недоступных высот?

Быть может, в ожогах от тола,
По первой бредет мировой,
Иль в мертвых песках Халхин-Гола
Вновь памятью бредит живой?

А, может, под сполохом ярым
Он вспомнил, осилив беду,
Как грозным железным ударом
Сдержал под Москвою орду?

А, может, задумавшись снова,
Он слышит: Ни шагу назад!
Иль ночью маршрутом суровым
Летит выручать Ленинград?

Иль там, уже в самом зените,
В конце всех боев и атак,
На крыше рейхстага он видит
Победы истерзанный флаг?

Иль вспомнил сквозь лавры и марши,
Походный стряхнув с себя прах,
Как враз присмиревший фельдмаршал
Имперский подписывал крах?

*

И снова он с тайной седою
Остался один на один:
Куда он с такой остротою
Глядит с недоступных вершин?

...Там, где-то, под сполохом славы,
С коня, как с горящих небес,
В кровавые падает травы
Подбитый, как птица, комэск.

И женщина рвется, как пламень...
Жена... Александра... Постой!
Куда ты ведешь его, память?
Ведь нету дороги прямой.

Туда, под родную Калугу,
Где мать у застывших ракит,
Где росы рассветного луга
Летят из-под конских копыт, —

Туда, в ту зеленую пору, —
Буденовский вихорь в кудрях, —
Когда молодого комкора
Не знали еще на верхах.

Тогда еще с главной судьбою
Он мог разминуться в пути:
И с доброй отцовской косою
В заречные дали уйти.

Но тяжко ложатся погоны,
И тянутся вехи годов
В пыли из-под ног батальона,
А после уже — и полков.

А после — в пылании зарев,
За криками тысячи ртов, —
Доверенных Ставкою армий
В бескрайних масштабах фронтов.

О, власть, как кипят ее страсти!
Но как от них жжется в груди,
Когда в твоей воле и власти —
На смерть миллионы вести.

Когда после сечи кромешной
При свете посмертной зари
Глядят с неуемной надеждой
Все матери в очи твои.

И, вздох свой запрятав глубинный,
Ты всем им кричишь из войны,
Что матери ныне единой —
Отчизне —
                    подвластны сыны.

И, взяв их рыданья с собою,
Последний не выиграв бой,
Гранитно ты встал над судьбою,
Поскольку ты сам стал Судьбой.

И страх отступает безмолвный,
И ты не белеешь, как мел,
Припомнив, как грозный Верховный
Во гневе кавказском кипел.

Ведь ты уже мера и право.
И каждый провидит в тебе
Судьбу светоносной Державы,
В твоей многотрудной судьбе.

*

О, как он из щели блиндажной
Хотел под огнем и свинцом
Рвануться порой в рукопашный
Простым и безвестным бойцом!

Пойти по-солдатски в атаку,
Где поровну смерть и звезда...
Но маршальский знак Зодиака
Был, видно, на страже всегда.

И очи всех вдов безымянных
Его заклинали в мольбе
О том, что, Отчизны избранник,
Он должен забыть о себе.

И, долгом великим влекомый,
Он снова волок на хребте
Фронтов полыханья и громы
Сквозь годы кровавые те.

Под грохот «катюш» знаменитых,
Средь адских кремней и кресал,
Он, падая с каждым убитым,
В поднявшихся вновь воскресал.

И только в часы передышки
В коротком и призрачном сне
Летел под Калугу мальчишкой
Навстречу отцу и весне, —

Туда, где синица летает,
В печи балагурит огонь,
Где новую косу сжимает
Его молодая ладонь;

Где спелою пахнет калиной,
Где груша на ветке висит,
Где конь белизны голубиной
В просторы Вселенной летит.

А после в рассвет помертвелый
Глядел он, гадая про сон:
Откуда ж тот конь приснобелый,
Когда весь в чаду небосклон?

И только Девятого мая,
На празднике смерти войны,
Все тайны свои излучая,
Раскрылись те вещие сны, —

Когда, величавый и властный,
Пред строем полков, в тишине,
Проплыл он по площади Красной
На белом победном коне.

*

Цветет, отцветает крушина,
А время могуче идет...
Куда ж он глядит нерушимо
С таких недоступных высот?

А, может, намека нет даже
На тайну во взоре его, —
И просто провидец и маршал
Глядит на солдат торжество.

Он с ними — всей кровью и сутью,
От пашен до звездных миров.
Они ему слуги и судьи,
И други — на веки веков.

И что там опалы и взлеты,
И горечь минутных досад,
Когда получил от народа
Он высшее званье —
Солдат!

Он нас не забыл, не утратил,
А, верный присяге святой,
Он просто вернулся к солдатам
На свой, уже вечный, постой.

Чело его метой столетья
В российский вросло горизонт...
И что ему смерть и бессмертье,
Когда его славит Народ?!

СЕМЬ...

Поэма

Виктору КИБЕНКУ
Николаю ВАЩУКУ
Василию ИГНАТЕНКО
Николаю ТИТЕНКУ
Владимиру ТИЩУРЕ
Владимиру ПРАВИКУ —
пожарникам
Владимиру ШЕВЧЕНКО —
кинорежиссеру,
принявшим лучевой
удар четвертого реактора

1

Тряхануло свет небесный.
До рассвета в Страхолесье
рухнул дуб тысячелетний,
охнула земля.
Только пыль повисла карой,
и злорадно ворон каркнул:
— Вот и все концы,
хлопцы-молодцы!
Так старались, самоеды,
что и корень сокровенный
переели. Ну, дела. —
Отлетел, роняя перья,
от безлюдного села
и хохочет, гад,
аж мороз — до пят.
— То ж не просто дуб —
под криничный сруб,
а тысячелетний символ:
что ни день, под ним месили
сказки для детей:
— Мол, казаки мы, э-гей!
Нам и стронций по колено,
превратили дуб в полено,
чтоб и знак пропал.
Самоедный час настал!

Под застольные капеллы —
слава богу, зубы целы —
как-никак, а корень сгрызли,
без чубов и без бровей.
На здоровье, хлопцы, ешьте,
только поскорей,
чтобы ваше клято семя
заодно и землю съело! —
И хохочет, гад,
аж мороз — до пят.

— Дай, — взывает, — боже, силы
дожевать им вечный символ
и себя сожрать без соли,
чтобы стало чисто в поле,
упаси ж нас, доля.
Упаси хоть нас от порчи,
пусть их шашели поточат
до трухи, до перьев,
чтоб на этом белом свете
хоть остались звери.

Я кричу:
— Уж так ли, враже,
провинилось племя наше?
Кое-что и мы сумели,
а не только сатанели
у мясных корыт.
Вон, смотри, летит
сын Земли. Живой. Не робот.
Мне в ответ — знобящий хохот.
Ворон в клюве сигарету
держит и хрипит:
— В космос или прямо к черту,
только поскорее,
чтобы
вас смело с планеты,
как чуму, как СПИД!
Ваши лбы распад пометил,
вы себя как биовид
исчерпали за мгновенье —
лишь ворвался скальпель в гены,
словно вежливый бандит.
Где же гуси — «гуси білі-і-і!»?
Прыткий геноинженер
превращает их в дебилов,
в орды выродков бескрылых
по программе НТР.
И уже в зерно природы
ты вогнал коварный шприц,
силясь накормить народы
хлебом бешеных пшениц.

Знаю, правильно — пшеница,
лишь в единственном числе,
но ведь разума граница
пошатнулась на Земле.
Что ж, возрадуйся теперь:
мясо выродков дебелых,
хлеб из квелого зерна,
и уже своих дебилов
наплодили вы сполна.

— Это все, — кричу, — недавно.
Гены, коды, ДНК.
Раньше было все исправно,
руслом двигалась река.
— Что? — от смеха ворон взвился. —
Ведь на всех делах и мыслях
ваших — оглянись —
до всемирного потопа
знак гадючий мизантропа
кольцами оставил слизь.
Хочешь глянуть в ретро?
На! Снимаю ретушь:

2

На вилах — невинных.
На кресте — Христа.
На костре окаянном —
Гуса Яна...
И куда уж дальше, братка?
Вот старушка у костра
появляется украдкой,
о, святая простота,
и подсовывает в пламя
хворост, чтоб огонь взбодрить.
Хочет Яну услужить...
Глянь, и руки не отпали.
Дух паленого и визг.
Что ж ты очи — вниз?!
Это же твое подобье,
а не дьявольская проба,
дьявол ни при чем. —
Он хихикнул за плечом.
— Зря на Понтия Пилата
ты киваешь воровато,
забывая, что Пилат —
твой по крови брат.

— Эй! — я крикнул. — Ты не очень. —
Дым пускает и хохочет,
аж мороз — до пят.
Ворон в раже — сила вражья:

— Вижу, не дошло.
Что ж, подымем тему выше,
перейдем с тобой на вирши:
«Днесь пасхальный дождь
тротуаром шел,
ковою травой
молодилась земля,
то Христос воскрес
мертвых воскресить...»

Сердцем сказано — на диво!
Что ж Боян примолк стыдливо,
лишь воспряли под крестом
воскрешенного Исуса
люди-братья... Как искусно
прибивали тело к брусьям
праведных своих грехов —
не хватало молотков!

Это все твои дела:
на вилах — невинных,
на кресте — Христа,
на костре окаянном —
Гуса Яна...
Дальше некуда, миряне,
ваше племя вымирает,
ведь любимое — свое
выжигает, как жнивье.
И, сопя в огромной яме,
на себя песок с червями
весело гребет.
День за век у вас идет!
Истрепали страх и муки
нерожденных ваших внуков,
а еще рекли: «Венец!»
Скоро вам конец.
Тоже мне, святые люди,
братья во Христе,
а у каждого гордыня,
как за пазухой гадюка,
под пеленками еще
затаилась и шипела.

В угол загнанный, кричу:
— Эй, мне слушать надоело!
Даже спорить не хочу,
потому что черной сажей
золотые с детства — мажешь
светлые слова.
«Шелковая — зеленая»...
Стало быть, трава.

— А по той траве, —
хихикает ворон, —
с дыркой в голове
тянут вдоль забора
председателя артели,
запеклася кровь в пыли.
Эх, дела земли.
А по той траве,
по родной стране —
расплатиться в полной мере
полсела везут на север
да по той траве,
все по той траве...

3

— Подожди, — прошу. —
Ведь пока межу
скопом мы не распахали,
да когда б не (что-то стало
с памятью)... Когда бы не
тот — с фамилией из стали...

Но хохочет ворон-гад,
аж мороз — до пят:
— Вон завел куда!
Лучше ты скажи на милость,
разве скопом в те года
на коленях не молились:
«Мудрый Сталин, ты веди нас,
весь ликующий народ
до новых высот».
И валили ходом крестным,
и ему творили мессы.
Кто тянул — поведай честно —
всех вас за язык?
В гены страх проник!..

— Ведь мы же, — кричу и глотаю
холодные спазмы, —
ведь мы продолжение совести
видели в нем,
мы верили свято,
и небо казалось в алмазах.
И школы, и тюрьмы о Сталине пели родном.
Мы черную землю пахали до самого неба,
чтоб дети и внуки
наелись без жадности хлеба.
Варили и ночью, и днем оборонный металл.
Сквозь Сталина — слышишь?! —
нам образ любимый сиял.
И кто нашу веру сегодня предаст осмеянью?

Ведь мы без патронов и хлеба —
пускай проклянут?! —
себя пеленая гранатами,
шли на закланье.
И разве под танками мы умирали за культ?
Кололся усами, родное лицо заслоняя,
и словно затменье,
в своих отраженьях велик,
уже наползал, надвигался
на ленинский лик.
О, наше терпенье и вера —
от края до края!
Мы верили клятве над гробом.
В такую минуту
всевидящий Мессинг,
и тот предсказать бы не смог,
услышав на холоде четкий
торжественный слог,
что ленинский свет сиротливо
покинет трибуну.
Мы кровью своей заплатили
за все Сталинграды,
и разве повинна великая вера страны,
что предал ее полубог,
повелитель парадов,
ведь наша победа — права.
И слова не нужны...

4

— Ишь, как мы заговорили! —
Наводя на солнце крылья,
аж затрясся ворон вдруг,
обронив скрипучий звук. —
Подойди сюда, оратор,
отступись на полстолетья —
в тридцать третий,
в тридцать пятый
и в тридцать седьмой —
что случилось со страной?

Смотри: на неправый,
бессовестный суд
народного маршала тайно ведут.
Оборваны с мясом,
свисают награды.
Комдивы, комкоры, гроза и оплот,
под пытками стали врагами народа.
Так где ж твой народ?

Зачем ты отводишь наивные очи?
Народный учитель, —
и ворон хохочет, —

как урка, уже под конвоем идет.
За то, что язык возлелеял народный,
пополнил подвалы
с «врагами народа».
Так где ж твой народ?
Смотри! Узнаешь?
За оврагами где-то
ведут твоего изнуренного деда
за то, что (сосед «не забыл»!)
в тридцать третьем
голодного внука спасая от смерти,
припрятал три горсти овса — с недорода.
На старости свелся с «врагами народа».
Так где ж твой народ?

Надолго завил он веревочкой рот.
И славный, и добрый,
молчит он, как рыба,
забился пугливо и шепчет в рукав:
«Так вIн же невинен, а «ворон» украв...»
Такой твой народ?

А деды твои начинали красиво и грозно,
еще молодые, как зори,
взошли с горизонта.
Какие напевы планете они подарили!
Какие душевные речи,
бессмертные были
вписали в «Богдановы универсалы»*.
Кидались их кони истлевшие
с места в галоп,
и время, и дали они одолели, и беды,
восстав из болот Берестечка, —
даешь Перекоп! —
оставили слезы в глазах
удивленной планеты.
Какие оттуда глядят
Наливайки, Серки, Богуны!
Какой у них Ленин родился
века освятить!
О, знали б они, что так низко
падут их сыны,
они в колыбели велели б себя задушить.

5

— Так кто же ты, свидетель всех обид?
Явился мне, и по какому праву,
не замечая праведную славу,
клюешь туда, где и во сне болит?

---

* «Богдановы универсалы» — административно-политические акты Богдана Хмельницкого.

Ты надо мною учиняешь суд,
над совестью моей в безлюдной зоне,
так, словно ты — и только! — знаешь суть,
как будто ты один — закон в законе?!

— Ну что ты юлишь, как затравленный лис?
Твой хитрый вопрос над тобою повис.
Какой еще ворон? Уже он облез.
Уже ты его затаскал по балладам,
пусти его в поле,
гони его в лес!
Как смирный цыпленок, окажется рядом.
Я страшная сила твоя и химера.
Ты в дни показухи,
утративши веру,
наивно меня и растил, и ценил,
я вскормленный желчью твоею —
цинизм... —
Голосом ржавым медленно
ворон в лицо кричит:
— Ишь, как прикрылись Лениным
возле своих корыт.
Бряцая словами общими
неправедных дней и лет,
хотите втянуть в сообщники
его неподкупный свет?

Он к вам пришел
в сияниях и муках!
Червонным Спасом ваших душ пришел,
а вы его знамен нетленный шелк
перекроили на футболки внукам.
Ваш красный цвет — краснеет от стыда?
На черный день вы прячете от ближних...
И светлый день сулите им с утра —
с амвонов устных, письменных и книжных.
Гремят Тараса скорбные стихи,
но ваши души стих не потревожит:
«За кого ж ты принял крест,
Христе, сыне божий?»

— Неужто все мы потеряли путь?
Зачем на кольях принимали муки?
Зачем искали, облучая руки,
свет для живых?
И проникали в суть...
— Свет для живых?
Да мне светлей во мраке! —
Он в сумасшедшем хохоте осип:
— Спасибо ж вам за пепел Нагасаки
от имени грядущих Хиросим!
Да кто же дал вам право, волосатым,

что только слезли с дерева на твердь,
коряво ковырять невинный атом,
в нем — раненом — вы разбудили смерть.
Еще не в силах в собственной квартире
лад навести,
вы атом покорили?!
И разве вам одним Земля в награду?
Что ж, вы прибрали всю ее к рукам.
Дарована и соловью, и гаду
болотному...
И уж не только вам!

За город выйду — стоит ромашка.
Тихо спрошу в печали:
— Странно, где ваша белая шляпка?
Глядь — лепестки опали...

Божья коровка, небесная дочка,
взлети на небо, дам тебе хлеба...
а пригляделся —
лишь оболочка
пустоты онемелой.

Сел на травинку скрипач-кузнечик,
в детстве, уже под вечер,
помнишь, как стрекотали?
Накрыл ладонью — сухие ножки
в седую полынь отпали.

Киевских кленов майское вече,
свадьбы грачей вокзальных.
А пригляделся —
желтые свечи
в сумерках поминальных.

— Кто это сделал? — стиснуло горло.
Ромашка, кузнечик, лютик...
Криком ударил метнувшийся ворон:
— Люди!

6

Очнулся я...
За отповедь — спасибо,
но разве мы спалили Хиросиму?
Хватает нам своих грехов. — Молчи! —
Он просверлил меня кровавым оком:
— А кто меня когда-то научил,
что все мы люди?
Все мы одиноки
в бескрайности...
У всех одни права.

Кто говорил высокие слова,
что все мы дети Матери единой,
с печатью солнца, с именем — Людина?

Куда же смотрел ты, когда заложил
под корни славянства реактор,
как мину,
хотел превратить колыбель в домовину?
Каким ты заклятьем детей защитил?
Что, ядерный выброс в районе Гудзона
страшнее, чем наша полынная зона?
Что, ласковей атомный ветер у нас?
Слабее невинных ожоги и муки?
Досрочных реакторов,
как недоносков науки,
наставил для внуков своих про запас.

О, как же обманчиво
вишни цветут за селом,
светило восходит, сияя античным челом,
садится на желтый цветок городская пчела,
и время земное по кругу течет,
как вчера.
И жены усталые тащат авоськи свои
в гудящие ульи семьи,
распрямляя под вечер
пригнутые эмансипацией плечи.

Грызитесь! Они наплодят вам химер.
Зафыркают ночью пудовые жабы,
заплещутся в реках трехглазые рыбы,
конец и начало —
ослепший Гомер...
И слово, рожденное в муках веками,
безгубым мычанием ляжет на камень.

Он каркал и дергался черной зарницей,
дымилась на желтых когтях роговица,
В горячке его шелестящие крылья,
казалось, и солнце навеки закрыли.
И только над Припятью встало во мраке
сиянье, как будто нездешняя сила...
Светились на лицах астральные знаки.
И было их шесть...
И меня осенило.

— Отринь, сатана! — закричал я
во мрак троекратно, —
я чуть не поверил в твой черный кошмар,
но шестеро в робах, как в ризах,
идут на реактор.

И светятся кости,
и в бешенстве гаснет пожар.
Всмотрись в эти лики...
И ворон метнулся с опаской.
Как нимбы, мерцают пожарные каски,
седьмой с кинокамерой рядом встает...
Я ворону крикнул:
— Такой мой народ!
И если таких он сегодня взрастил сыновей,
не будет вовеки веков у него — недорода.
Под грозами века я кланяюсь тайне
народа —
ведь в черные дни
он душой становился светлей.

7

И, словно в кристалле магическом,
свет семерых
показывал землю с червями,
и травы, и корни,
убогость домов-интернатов
и формулу крови...
Частицы распада
светились на лицах родных.
Сиянье струилось
еще не рожденным — вдогон,
пронзало и китель,
и шкуру улыбчивой злобы,
высвечивал время и души
безлюдный Чернобыль,
как воск, прошивая свинец и бетон.

Безжалостный выброс беды,
презирая века,
кричал и светил впереди —
до отчаянья зримо.
Там плавала в призрачных ядерных зимах
примерзшая к льдине
последнего зверя нога.

Седьмой с кинокамерой...
Окрик: — Володя, куда? —
И в титрах вослед за шестым обреченным —
Владимир Шевченко,
насквозь облученный,
сгорел, как седьмая
живая звезда.
Вонзаясь во тьму ханаанских веков,
над Припятью
светят их чистые муки,

но семеро звезд из свинцовых гробов
берут и тебя, и меня на поруки...

. . . .

А знаешь ли ты, как рыдает седая полынь,
какая над Припятью горькая синь?
В безлюдных полях
причитает стальная струна
и ворон частицы распада роняет с крыла.

В травы... шел-
ковые, зеленые
Тычина пошел.
Оглянулся на миг,
ворону крикнул в поле:
— Былое болить!
Сегодня — болит былое.
Ведь все здесь — мое,
ни продать, ни купить,
отныне и только мне
судить его беспощадно,
себя не прощая.
И — очищаться...
Болит!

СОДЕРЖАНИЕ

Переводы Льва Смирнова:

Олейник Б. И.

О—53 Мера : Стихи, баллады, поэмы / Авториз. пер. с укр. Л. Смирнова, И. Шкляревского. — М. : Мол. гвардия, 1988. — 77[3] с.

ISBN 5-235-00708-5

Творчество уираинского поэта, лауреата Государственной премик СССР Боркса Олейккка — это страстный, эмоцкоиальный протест проткв всего ущербкого и стремленке утверждать во всем высокке человеческке ценностк. Стихи его остросоцкальны, энергкчны, искренни, затрагквают многие стороны иародиой жизик: ксторкю к современиость. Стхкк воспевают людей деятельиых, творческк увлечвиных, ие жалеющкх скл во имя служения Родкие, славят красоту высоких помыслов, иеразрывиость времеи и поколений, стойкость советского человвка, своих друзей, любовь к женщине и родиой природе.

О $\frac{4702590200-254}{078(02)-88}$ 198—88 **ББК 84Ук7**

ИБ № 5385

Боркс Ильич Олейнкк

МЕРА

Заведующий редакцией **Г. Зайцев**
Редактор **Т. Чалова**
Художиик **Е. Орлова**
Художествениый редактор **Т. Погудина**
Техиический редактор **Т. Шельдова**
Корректоры **Е. Самолетова, Е. Дмктркева**

Сдаио в иабор 17.06.88. Подписаио в печать 21.07.88. Формат 60×108[1]/16. Бумага типографская № 1. Гаринтура «Литературиая». Печать высокая. Усл. печ. л. 6,0. Усл. кр.-отт. 6,6. Учетио-изд. л. 4,3. Тираж 15 000 экз. Цена 50 коп Заказ 1183.

Типография ордеиа Трудового Красиого Знамеии издательско-полиграфического объедииеиия ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00708-5




50 коп.